

ОПАВШИЕ
ЛИСТЬЯ



КОРОБ ПЕРВЫЙ

Я думал, что все бессмертно. И пел песни.
Теперь я знаю, что все кончится. И песня умолкла.
(три года уже)

* * *

Сильная любовь кого-нибудь одного делает ненужным любовь многих.

Даже не интересно.

* * *

Что́ значит, когда «я умру»?
Освободится квартира на Коломенской, и хозяин сдаст ее новому жильцу.

Еще что́?

Библиографы будут разбирать мои книги.

А я сам?

Сам? — *ничего*.

Бюро получит за похороны 60 руб., и в «марте» эти 60 руб. войдут в «итог». Но там уже все сольется тоже с другими похоронами; ни имени, ни воздыхания.

Какие ужасы!

* * *

Сущность молитвы заключается в признании глубокого своего *бессилия*, глубокой ограниченности. Молитва — где «я не могу»; где «я могу» — нет молитвы.

* * *

Общество, *окружающие* убавляют душу, а не прибавляют.

«Прибавляет» только теснейшая и редкая симпатия, «душа в душу» и «один ум». Таковых находишь одну-две за всю жизнь. В них душа расцветает.

И ищи ее. А толпы бегай или осторожно обходи ее.

(за утрен. чаем)

* * *

И бегут, бегут все. Куда? зачем?

— Ты спрашиваешь, зачем мировое volo?¹

Да тут — не volo, а скорее ноги скользят, животы трясутся.

Это скетинг-ринг, а не жизнь.

(на Волково)

* * *

Да. Смерть — *это тоже религия. Другая религия.*

Никогда не приходило на ум.

.....
Вот арктический полюс. Пелена снега. И ничего нет. Такова смерть.

.....
Смерть — конец. Параллельные линии сошлись. Ну, уткнулись друг в друга, и ничего дальше. Ни «самых законов геометрии».

Да, «смерть» одолевает даже математику. «Дважды два — ноль».

(смотря на небо в саду)

Мне 56 лет: и помноженные на ежегодный труд — дают ноль.

Нет, больше: помноженные на *любовь*, на *надежду* — дают ноль.

Кому этот «ноль» нужен? Неужели Богу? Но тогда кому же? Зачем?

¹ Хочу (лат.).

Или неужели сказать, что смерть *сильнее* самого Бога. Но ведь тогда не выйдет ли: *она сама — Бог? на Божьем месте?*

Ужасные вопросы.

Смерти я боюсь, смерти я не хочу, смерти я ужасаюсь.

* * *

Смерть «бабушки» (Ал. Андр. Рудневой) изменила ли что-нибудь в моих соотношениях? Нет. Было жалко. Было больно. Было *грустно за нее*. Но я и «со мною» — ничего не переменялось. Тут, пожалуй, еще больше грусти: как смело «со мною» не перемениться, когда умерла она? Значит, она мне *не нужна*? Ужасное подозрение. Значит, вещи, *лица* и имеют соотношение, пока живут, но нет соотношения *в них, так сказать, взятых от подошвы до вершины*, метафизической подошвы и метафизической вершины? Это *одиночество вещей* еще ужаснее.

Итак, мы с мамой умрем, и дети, *погоревав*, останутся жить. В мире ничего не переменится: ужасная перемена *настанет только для нас*. «Конец», «кончено». Это «кончено» не относительно подробностей, но *целого, всего* — ужасно.

Я — *кончен*. Зачем же я *жил*?!!!

* * *

Если бы не любовь «друга» и вся история этой любви, — как обеднела бы моя жизнь и *личность*. Все было бы пустой идеологией интеллигента. И верно, все скоро оборвалось бы.

...о чем писать?

Все написано *давно*.

(Лерм.)

Судьба с «другом» открыла мне бесконечность тем, и все запылало личным интересом.

* * *

Как *самые счастливые* минуты мне припоминаются те, когда я видел (слушал) людей счастливыми. Стаха и Алекс. Пет. П-ва, рассказ «друга» о первой любви ее и замужестве (кульминационный пункт моей жизни). Из этого я заключаю, что я был рожден *созерцателем*, а не *действителем*.

Я пришел в мир, чтобы *видеть*, а не *совершить*.

* * *

Что́ же я скажу (на т. с.) Богу о том, что Он послал меня увидеть?

Скажу ли, что мир, им сотворенный, прекрасен?

Нет.

Что́ же я скажу?

Б. увидит, что я плачу и молчу, что лицо мое иногда улыбается. Но Он ничего не услышит от меня.

* * *

Я пролетал около тем, но не летел на темы.

Самый полет — вот моя жизнь. Темы — «как во сне».

Одна, другая... много... и все забыл. Забуду к могиле.

На том свете буду без тем.

Бог меня спросит:

— Что же ты сделал?

— Ничего.

* * *

Нужно хорошо «вязать чулок своей жизни» и — не помышлять об остальном. Остальное — в «Судьбе»: и все равно там мы ничего не сделаем, а *свое* («чулок») испортим (через отвлечение внимания).

* * *

Эгоизм — не худ; это — кристалл (твердость, неразрушимость) около «я». И собственно, если бы все «я» были в кристалле, то не было бы хаоса, и, след., «государство» (Левиафан) было бы почти не нужно. Здесь есть $\frac{1}{1000}$ правоты в «анархизме»: не нужно «общего», *κοινων*: и тогда индивидуальное (главная красота человека и истории) вырастет. Нужно бы взглядеться, что́ такое «доисторическое существование народов»: по Дрэперу и таким же, это — «троглодиты», так как не имели «всеобщего обязательного обучения» и их не обьегоривали янки; но по Библии — это был «рай». Стоит же Библия Дрэпера.

(за корректурой)

ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ

* * *

Проснулся...
Какие-то звуки... И заботливо прохожу в темном еще утре по комнатам.

С востока — светает.

На клеенчатом диванчике, поджав под длинную ночную рубашу голые ножонки, — сидит Вася, закинув голову в утро (окно на восток), с книгой в руках твердит сквозь сон:

И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла.
Ад-ми-рал-тей-ска-я...
Ад-ми-рал-тей-ска-я...
Ад-ми-рал-тей-ска-я...

Не дается слово... такая «Америка»; да и как «игла» на улице?
И он перевирает:

...светла
Адмиралтейская игла,
Адмиралтейская звезда,
Горит восточная звезда.

— Ты что́, Вася?

Перевел на меня умные, всегда у него серьезные глаза. Плоха память, старается, трудно, — потому и серьезен:

— Повторяю урок.
— Так нужно учить:

Адмиралтейская игла.

Это шпиг такой. В несколько саженей длины, т. е. высоты.

— Шпиг? Что́ это??

— Э... крыша. Т. е. на крыше. Все равно. Только надо: игла.
Учи, учи, маленькой.

И — повернулся. По дому — благополучно. В спину мне слышалось:

Ад-ми-рал-тей-ска-я звезда,
Ад-ми-рал-тей-ская игла.

* * *

Не литература, а *литературность* ужасна: литературность души, литературность жизни. Тó, что всякое *переживание* переливается в играющее, живое слово, но этим все и кончается, — само *переживание* умерло, нет его. Температура (человека, тела) остыла от слова. Слово не возбуждает, о нет! — оно расхолаживает и останавливает. Говорю об оригинальном и прекрасном слове, а не о слове «так себе». От этого после «золотых эпох» в литературе наступает всегда глубокое разложение всей жизни, ее апатия, вялость, бездарность. Народ делается как сонный, жизнь делается как сонная. Это было и в Риме после Горация, и в Испании после Сервантеса. Но не примеры убедительны, а существенная связь вещей.

Вот почему литературы, в сущности, не нужно: тут прав К. Леонтьев. «Почему, перечисляя славу века, назовут все Гёте и Шиллера, а не назовут Веллингтона и Шварценберга». В самом деле, «почему»? Почему «век Николая» был «веком Пушкина, Лермонтова и Гоголя», а не веком Ермолова, Воронцова и как их еще. Даже не знаем. Мы так избалованы книгами, нет — так завалены книгами, что даже не помним полководцев. Ехидно и дальновидно поэты называли полководцев «Скалозубами» и «Бетрищевыми». Но ведь это же односторонность и вранье. Нужна вовсе не «великая литература», а великая, прекрасная и полезная жизнь. А литература мож. быть и «кой-какая» — «на задворках».

Поэтому нет ли провиденциальности, что здесь «все проваливается»? что — не Грибоедов, а Л. Андреев, не Гоголь — а Бунин и Арцыбашев. Может быть. М. б., мы живем в великом окончании литературы.

* * *

Листья в движении, но никакого шума. Все обрызгано дождем сквозь солнце. И мамочка сказала:

— Посмотри.

Я глядел и думал тó же. Она же думала и сказала:

— Что может быть *чище* природы...

ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ

Она не говорила, но это была ее мысль, которую я продолжал:

— И люди, и жизнь их уже не так чисты, как природа...

Мамочка сказала:

— Как природа невинна. И как поэтому благородна...

(лет восемь назад в саду)

Когда я прочел это мамочке, она сказала:

— Это было года четыре назад.

Это еще было до болезни, но она забыла: тому — лет восемь.

Она прибавила:

— Ты теперь несчастен и потому вспоминаешь о том, когда мы были счастливы.

Прихрамывая, несет полотняные туфли, потому что сапоги я снял и по ошибке поставил торжественно перед собою на перильцах балкона («куда-нибудь»).

И все хромает.

И все помогает.

— Как было нехорошо вчера без тебя. Припадок. Даже лед на голову клала (крайне редкое средство).

* * *

Иду. Иду. Иду. Иду...

И где кончится мой путь — не знаю.

И не интересуюсь. Что-то стихийное и нечеловеческое. Скорее, «несет», а не иду. Ноги волочатся. И срывает меня с каждого места, где стоял.

(окружной суд, об «Уединен.»)

* * *

После книгопечатания любовь стала невозможной.

Какая же любовь «с книгою»?

(собираясь на именины)

* * *

Сказать, что Шперка *теперь совсем нет на свете*, — невозможно. Там, м. б., в платоновском смысле «бессмертие души» — и ошибочно: но для моих друзей оно ни в коем случае не ошибочно.

И не то чтобы «душа Шперка — бессмертна»: а его бороденка рыжая не могла умереть. «Бызов» его (такой приятель был) дожидается у ворот, и сам он на конке — направляется ко мне на Павловскую. Все как было. А «душа» его «бессмертна» ли: и — не знаю, и — не интересуюсь.

Все бессмертно. Вечно и живо. До дырочки на сапоге, которая и не расширяется, и не «заплатывается», с тех пор как была. Это лучше «бессмертия души», которое сухо и отвлеченно.

Я хочу «на тот свет» прийти с носовым платком. Ни чуточки меньше.

(16 мая 1912 г.)

* * *

Не понимаю, почему я особенно не люблю Толстого, Соловьева и Рачинского. Не люблю их мысли, не люблю их жизни, не люблю *самой души*. Пытая, кажется, нахожу главный источник по крайней мере *холодности* и какого-то безучастия к ним (странно сказать) — в «сословном разделении».

Соловьев если не был аристократ, то все равно был «в славе» (в «излишней славе»). Мне твердо известно, что тут — не зависть («мне все равно»). Но, говоря с Рачинским об *одних мыслях* и будучи *одних взглядов* (на церковн. школу), — я помню, что все им говоримое было мне *чужое*; и то же — с Соловьевым, то же — с Толстым. Я мог ими всеми тремя *любоваться* (и любовался), ценить их деятельность (и ценил), но никогда их *почему-то* не мог любить, не только много, но и ни капельки. Последняя собака, раздавленная трамваем, вызвала большее движение души, чем их «философия и публицистика» (устно). Эта «раздавленная собака», пожалуй, кое-что объясняет. Во всех трех не было абсолютно никакой «раздавленности», напротив, сами они весьма и весьма «давили» (полемика, враги и пр.). Толстой ставит то «3», то «1» Гоголю: приятное самообольщение. Все три вот и были самообольщены: и от этого не хотелось их ни любить, ни с ними «водиться» (зняться). «Ну и успевайте, господа, — мое дело сторона». С детства мне было страшно врождено сострадание: и на этот главный пафос души во всех трех я не находил никакого объекта, никакого для себя «предмета». Как я любил и люблю Страхова,

любил и люблю К. Леонтьева; не говоря о «мелочах жизни», которые люблю безмерно. Почти нашел разгадку: любить можно то, или — того, о ком сердце болит. О всех трех не было никакой причины «душе болеть», и от этого я их не любил.

«Сословное разделение»: я это чувствовал с Рачинским. Всегда было «все равно», что бы он ни говорил; как и о себе я чувствовал, что Рачинскому было «все равно», что *у меня в душе*, и он таким же отдаленным любльем любил мои писания (он их любил, — по-видимому). Тут именно сословная страшная разница; другой мир, «другая кожа», «другая шкура». Но нельзя ничего понять, если припишешь зависти (было бы слишком просто): тут именно *непонимание* в смысле невозможности усвоения. «Весь мир другой: — *его*, и — *мой*». С Рцы (дворянин) мы понимали же друг друга с $1/2$ слова, с намека; но он был беден, как и я, «не нужен в мире», как и я (себя чувствовал). Вот эта «ненужность», «отшвырнутость» от мира ужасно соединяет, и «страшно все сразу становится понятно»; и люди не на словах становятся братья.

* * *

История не есть ли чудовищное *другое* лицо, которое проглатывает людей *себе в пищу*, нисколько не думая о их счастье. Не интересуюсь им?

Не есть ли мы — «я» в «Я»?

Как все страшно и безжалостно устроено.

(в лесу)

* * *

Есть ли жалость в мире? Красота — да, смысл — да. Но жалость?

Звезды жалеют ли? Мать — жалеет: и да будет она выше звезд.

(в лесу)

* * *

Жалость — в маленьком. Вот почему я люблю маленькое.

(в лесу)

* * *

Писательство есть Рок. Писательство есть *fatum*. Писательство есть несчастье.

(3 мая 1912 г.)

...и, может быть, только от этого писателей нельзя судить страшным судом... *Строгим-то* их все-таки следует судить.

(4 мая 1912 г.)

1 р. 50 к.

— Я тебе, деточка, переложу подушку к ногам. А то от горячей печи голова разболится.

— Хорошо, папа. Но поставь стул (к изголовью).

Поставил.

И, улыбаясь, поднялась и, вынув что-то из-под подушки, бросила на решетку стула серебряный рубль.

— Я буду на него смотреть.

Я уже догадался: «рубль» мамочка дала, чтобы было «терпеливее» лежать.

Больна. 11 или 12 лет.

Варя в саду так и старается. Метлой больше себя сметает по дорожкам и перед балконом листья, бумажки и всякий сор, — чтобы бросить в яму.

— Хорошо, Варя.

Подняла голову. Вся красивая. Волосы как лен. Огромные серые глаза, с прелестью вечного недоумения в них, подпольного проказничества и смелости. И чудный (от работы) румянец на щеках.

13 лет.

Это она зарабатывает свой полтинник. Больная мама говорит мне с кушетки:

— Ну, все-таки и моцион на воздухе.

Трем удовольствие, и всего обошлось в 1 р. 50 к.

Варю Таня (старшая, с нею в одной школе) зовет «белый коняшка» или «белый конек». Она в самом деле похожа на жеребеночка. Вся большая, веселая, энергичная, — и от белых волос и белого цвета кожи ее прозвали «белым конем».

Это когда-то давно-давно, когда все были крошечные и в училища еще ни одна не поступала, — я купил, увидя на окне кондитерской на Знаменской (была Страстная неделя) зверьков из папье-маше. Купил слона, жирафу и зебру. И принес домой, вынул «секретно» из-под пальто и сказал:

— Выбирайте себе по одному, но такого зверя, чтобы он был похож на взявшего.

Они, минуто смотря, схватили:

Толстенькая и добренькая Вера, с милой улыбкой

— слона.

Зебру, — шея дугой и белесоватая щетинка на шее торчит кверху (как у нее стриженные волосы)

— Варя.

А тонкая, с желтовато-блеклыми пятнышками, вся сжатая и стройная жирафа досталась

— Тане.

Все дети были похожи именно на этих животных, — и в кондитерской я оттого и купил их, что меня поразило сходство по типу, по духу.

Еще было давно: я купил мохнатую собачонку, пуделя. И, не говоря ничего дома, положил под подушку Вере, во время вечернего чая. Когда она пошла спать, то я стал около лестницы, отделенной лишь досчатой стеной от их комнаты. Слышу:

— Ай!

— Ай! Ай! Ай!

— Чтó это такое? Чтó это такое?

Я прошел к себе. Не сказал ничего, ни сегодня, ни завтра. И на слова: «Не ты ли положил?» — отвечал что-то грубо и равнодушно. Так она и не узнала, как, что и откуда.

* * *

Толстой был гениален, но не умен. А при всякой гениальности ум все-таки «не мешает».

* * *

Ум, положим, — меццанинишко, а без «третьего элемента» все-таки не проживешь.

Надо ходить в чищенных сапогах; надо, чтобы кто-то сшил платье. «Илья-пророк» все-таки имел милость, и ее сшил какой-нибудь портной.

Самое презрение к уму (мистики), т. е. к мещанину, имеет что-то *на самом конце своем* — мещанское. «Я такой барин» или «пророк», что «не подаю руки этой чуйке». Сказавший или подумавший так *eo ipso*¹ обращается в псевдобарина и лжепророка.

Настоящее *господство над умом* должно быть совершенно глубоким, совершенно в себе запрятанным; это должно быть субъективной тайной. Пусть Спенсер чванится перед Паскалем. Паскаль должен даже время от времени называть Спенсера «вашим превосходительством», — и вообще не подавать никакого вида о настоящей *мере* Спенсера.

* * *

Мож. быть, я расхожусь не с человеком, а только с литературой? Разойтись с человеком страшно. С литературой — ничего особенного.

* * *

Левин верно упрекает меня в «эгоизме». Конечно — это *есть*. И даже именно от этого я и писал (пишу) «Уед.»: писал (пишу) в глубокой тоске как-нибудь разорвать кольцо уединения... Это именно кольцо, надетое с рождения.

Из-за него я и кричу: вот что *здесь*, пусть — *узнают*, если уже невозможно ни увидеть, ни осязать, ни прийти на помощь.

Как утонувший, на дне глубокого колодца, кричал бы людям «там», «на земле».

* * *

.....

Вывороченные шпалы. Шашки. Песок. Камень. Рытвины.

— Чтó это? — ремонт мостовой?

— Нет, это «Сочинения Розанова». И по железным рельсам несется уверенно трамвай.

(на Невском, ремонт)

¹ Вследствие этого (*лат.*).

ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ

* * *

Много есть прекрасного в России, 17 октября, конституция, как спит Иван Павлыч. Но лучше всего в Чистый понедельник забирать соленья у Зайцева (угол Садовой и Невск.). Рыжики, грузди, какие-то вроде яблочков, брусника — разложена на тарелках (для пробы). И испанские громадные луковицы. И образцы капусты. И нити белых грибов на косяке двери.

И над дверью большой образ Спаса, с горящею лампадой. Полное православие.

И лавка небольшая. Все дерево. По-русски. И покупатель — серьезный и озабоченный, — в благородном подъеме к труду и воздержанию.

Вечером пришли секунданты на дуэль. Едва отделался.

В Чистый понедельник грибные и рыбные лавки первые в торговле, первые в смысле и даже в истории. Грибная лавка в Чистый понедельник равняется лучшей странице Ключевского.

(первый день Великого поста)

* * *

25-летний юбилей Корецкого. Приглашение. Не пошел. Справили. Отчет в «Нов. вр.».

Кто знает поэта Корецкого? Никто. Издателя-редактора? Кто у него сотрудничает?

Очевидно, гг. писатели идут «поздравлять» всюду, где поставлена семга на стол.

Бедные писатели. Я боюсь, правительство когда-нибудь догадается вместо «всех свобод» поставить густые ряды столов с «беломорскою семгою». «Большинство голосов» придет, придет «равное, тайное, всеобщее голосование». Откушают. Поблагодарят. И я не знаю, удобно ли будет после «благодарности» требовать чего-нибудь. Так Иловайский не предвидел, что великая ставка свободы в России зависит от многих причин и еще от одной маленькой: улова семги в Белом море.

«Дорого да сердито...» Тут наоборот — «не дорого и не сердито».

(март, 1912 г.)

* * *

Из каждой страницы Вейнингера слышится крик: «Я люблю мужчин!» — «Ну что́ же: ты — содомит». И на этом можно закрыть книгу.

Она вся сплетена из *volò* и *scio*: его *scio*¹ — гениально, по крайней мере где *касается обзора природы*. Женским глазом он уловил тысячи дотоле незаметных подробностей; даже заметил, что «кормление ребенка возбуждает женщину». (Отсюда, собственно, и происходит вечное «перекармливание» кормилицами и матерями и последующее заболевание у младенцев желудка, с которым «нет справки».)

— Фу, какая баба! — Точно ты *сам кормил* ребенка или хотел его выкормить!

«Женщина бесконечно благодарна мужчине за совокупление, и когда в нее втекает мужское семя, то это — кульминационная точка ее существования». Это он не повторяет, а *твердит* в своей книге. Можно погрозить пальчиком: «Не выдавай тайны, баба! Скрой тщательнее свои грезы!!» Он говорит о *всех женщинах*, как бы они были все его соперницами, — с этим же раздражением. Но женщины великодушнее. Имея каждая своего верного мужа, они нимало не претендуют на уличных самцов и оставляют на долю Вейнингера совершенно достаточно брюк.

Ревнование (мужчин) к женщинам заставило его ненавидеть «соперниц». С тем вместе он полон глубочайшей нравственной тоски: и в ней раскрыл глубокую нравственность женщин, — которую в ревности отрицает. Он перешел в христианство: как и вообще женщины (св. Ольга, св. Клотильда, св. Берта) первые приняли христианство. Напротив, евреев он ненавидит: и опять — потому, что ^{они} _{они} суть его «соперницы» (бабья натура евреев — моя *idée fixe*).

* * *

Наш Иван Павлович — врожденный священник, но не посвящается. Много заботы. И пока остается учителем семинарии.

Он всегда немного дремлет. И если ему дать выдрематься — он становится веселее. А если разбудить, становится раздражен. Но не очень и не долго.

¹ Знаю (*лат.*).

ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ

У него жена — через 8 лет брака — стала «в таком положении». Он ужасно сконфузился и написал предупредительно всем знакомым, чтобы не приходили. «Жена несколько нездорова, а когда выздоровит — я извещу».

Она умерла. Он написал в письме: «Царство ей Небесное. Там ей лучше».

Так кончаются наши «священные истории». Очень коротко.
(за чаем вспомнил)

* * *

Мертвая страна, мертвая страна, мертвая страна. Все недвижимо, и никакая мысль не прививается.

(24 марта 1912 г., купив 3 места на Волковом)

* * *

У Нины Р-вой (плем.) подруга: вся погружена в историю, космографию. Видна. Красива. Хороший рост. Я и спрашиваю:

— Что самое прекрасное в мужчине?

Она вдохновенно подняла голову:

— *Сила!*

(на побывке в Москве)

* * *

Никогда, никогда не порадуется священник «плоду чрева». Никогда.

Никогда *ex cathedra*¹, а разве приватно.

А между тем есть нумизмат Б. (он производит себя от Александра Бала, царя Сирии), у которого я увидел бронзовую *Faustina jun.*, с реверзом (изображение на обратной стороне монеты): женщина держит на руках двух младенцев, а у ног ее держатся за подол тоже два — больше — ребенка. Надпись кругом.

FECUNDITAS AVGVSTAE,

т. е.

ЧАДОРОДИЕ ЦАРИЦЫ.

Я был так поражен красотой этого смысла, что тотчас купил «Торговая монета», орудие обмена, в руках у всех, у торговков, проституток, мясников, франтов, в Тибуре и на Капитолии: и вдруг

¹ С кафедры (лат.).